

Искандер Арысов

Арысь. Вокзал. Степь.



Искандер Арысов
Арысь. Вокзал. Степь.

«Автор»

2026

Арысов И.

Арысь. Вокзал. Степь. / И. Арысов — «Автор», 2026

Арысь. Вокзал. Степь. — эпический роман о том, как на краю казахской степи, возникло место, ставшее символом эпохи. Это история о строительстве железнодорожного вокзала, названного «Воротами в Азию». В 1901 году в степи появляется инженер Громов, умеющий слушать землю. Он строит вокзал по голосу степи, но его отстраняют. Достраивает карьерист Яблонский — земля не прощает предательства. Приходит землемер Миронов, находит воду и говорит с поющим камнем. Вместе с мудрым Сарыбаем он возвращает зданию душу. Роман охватывает столетие. После войны на пустыре вырастает парк благодаря Асету Жумагалиеву. В центре — паровоз-памятник. В девяностые парк умирает, но внук Асета, архитектор Данияр, восстанавливает его. Это роман-памятник строителям и кочевникам. В традициях магического реализма здесь камни поют, чугун дышит, земля говорит с теми, кто умеет слушать. О людях, создавших место, где всегда будет жизнь. О земле, которая помнит. О степи, которая ждала.

© Арысов И., 2026

© Автор, 2026

Искандер Арысов

Арысь. Вокзал. Степь.

Пролог

Земля, которая дышала

1

Прежде чем появились рельсы, прежде чем чугунные колёса раздавили тысячи песчинок, прежде чем люди в форменных сюртуках пришли с теодолитами и измерили небо — была только степь. Бескрайняя, как молчание, бездонная, как сон, в котором ты падаешь и не можешь проснуться. Она не имела имён, потому что никто не смел назвать то, что не кончалось. Она не имела границ, потому что границы придумали люди, а степь была до людей. Она была просто — *есть*. И всегда будет. Даже когда придут поезда, даже когда построят вокзал, даже когда всё это обрастёт домами, заборами, фонарями, бетоном, асфальтом, — степь останется. Она просто отступит, притаится, затаит дыхание, но не уйдёт. Она будет ждать. Она всегда ждала.

Это была сухая земля. Такыр — гладкий, трещиноватый, как старая кожа, на которой видны морщины всех тысячелетий. Летом он раскалялся до того, что даже ветер обжигал горло, и воздух над ним дрожал, плыл, искажал горизонт, превращая далёкие холмы в миражи, в города, которых никогда не было, в озёра, в которые нельзя войти, потому что они — обман. Зимой такыр промерзал до такой глубины, что под ним слышался хруст — будто земля ломала собственные кости, сжималась, пыталась удержать тепло, но не могла. И только весной, когда снег таял, и вода на короткое время появлялась на поверхности, такыр вздыхал — глубоко, облегчённо, как человек, который долго ждал и наконец дождался. Вода уходила быстро, но земля помнила её вкус. Земля хранила память о каждом дожде, о каждой капле, о каждом ручье, который когда-то бежал по её поверхности, ещё когда здесь было море. Давно, очень давно. Когда мамонты ходили по этой степи, когда саблезубые тигры прятались в камышах у рек, когда люди ещё не научились говорить, но уже умели слушать. Земля помнила всё. Она не забывала.

И по этой земле, по этим сухим, растрескавшимся пластам, бродили редкие люди. Они называли себя по-разному — скифы, сарматы, тюрки, казахи, — но суть была одна: они были детьми степи. Они не строили каменных домов, потому что камень здесь был редок, а дерево не росло. Они жили в войлочных юртах, которые можно было свернуть за час и уйти туда, где есть вода, где есть трава, где есть жизнь. Они не оставляли следов, потому что ветер быстро заметал их, и через день от костра оставался только чёрный круг, который тоже через месяц зарастал или заносился песком. Они двигались, как вода, как ветер, как облака, и степь не помнила их имён. Но она помнила их шаги, их голоса, их песни. Она помнила, как они молились на рассвете, повернувшись к востоку, и как их голоса сливались с шумом сухой травы. Она помнила, как они хоронили своих мёртвых, складывая камни в курганы, и как потом обходили эти курганы стороной, потому что знали: мёртвые не любят, когда их тревожат. И степь уважала этот обычай. Она растила траву на курганах — высокую, жёлтую, которая шумела на ветру, как голоса предков. Она позволяла этим курганам стоять веками, потому что они были частью её памяти.

2

Курганы. Их было много. Тысячи. Десятки тысяч. Они стояли на равнине, как тёмные острова в море сухой травы, как горбы древних зверей, которые уснули и больше не проснутся. Казахи обходили их стороной, не потому что боялись — они ничего не боялись, кроме голода, холода и жажды, — а потому что знали: под каждым курганом лежит человек, который когда-то смотрел на ту же степь, дышал тем же воздухом, слушал тот же ветер. И каждый из них

заслужил покой. Каждый из них должен был лежать в земле, которую любил, и земля должна была обнимать его кости, согревать их своей глубиной, говорить с ними на языке корней и червей. Это был договор. Договор между живыми и мёртвыми, между людьми и землёй. И земля хранила этот договор так же свято, как хранила воду в подземных руслах, как хранила семена в сухой почве, как хранила дыхание — своё собственное, глубокое, медленное, неслышное для ушей, но слышное для тех, кто умел слушать.

И степь дышала. Она дышала этим безмолвным, тяжёлым дыханием, которое чувствовалось только ночью, когда ветер стихал и тишина становилась такой плотной, что можно было услышать, как бьётся пульс под землёй. Это дыхание было древним. Оно началось задолго до того, как первый человек ступил на эту землю. Оно началось тогда, когда здесь было море — солёное, синее, бесконечное, — и волны бились о берега, которых теперь уже нет. Оно началось тогда, когда земля поднялась из воды, когда первые растения пробились через соль, когда первые животные пришли на эту новую сушу, ещё влажную, ещё парящую, ещё не остывшую. Это дыхание никогда не прерывалось. Оно проходило сквозь миллионы лет, сквозь тысячи поколений, сквозь все войны, все голоды, все засухи, все бури. Оно было ровным, как сердцебиение спящего великана, и оно ждало. Оно ждало, когда кто-то придёт и скажет: «Я слышу тебя. Я знаю, что ты есть. Я хочу построить на тебе дом».

3

Иногда, в редкие ночи, когда луна была полной и степь заливалась серебряным светом, казахи слышали, как земля поёт. Это был не ветер, не шум травы, не крик ночной птицы. Это был звук, который шёл из-под земли, из самой её глубины, из того слоя, где камень встречается с глиной и где вода течёт по невидимым жилам. Звук был низким, вибрирующим, похожим на гудение огромного колокола, который ударили один раз, а он всё ещё звенит, всё ещё не может успокоиться. Казахи говорили, что так поёт память. Память о тех, кто был здесь раньше, память о зверях, которые здесь жили, память о море, которое здесь плескалось. Они говорили, что земля поёт, когда она счастлива, когда она не одна, когда она чувствует, что кто-то рядом с ней. И они садились на корточки, закрывали глаза и слушали. Они ничего не просили у земли, ничего не требовали. Они просто были рядом. И земля пела им, как мать поёт ребёнку, которого она качает на руках.

Но были и другие ночи. Ночи, когда земля молчала. Ночи, когда тишина была настолько полной, что казалось, будто мир замер и остановился, будто время перестало течь, будто всё живое спряталось и ждёт конца. Тогда казахи переглядывались и шептались друг другу: «Она ждёт. Она готовится. Что-то должно случиться». Они не знали, что именно. Они не знали, что за люди придут через несколько десятилетий, что они будут измерять землю теодолитами, что они привезут рельсы, шпалы, паровозы и построят станцию, которая изменит всё. Они не знали, что земля ждала именно этого. Она ждала железа. Она ждала пара. Она ждала песен, которые придут вместе с этими чудесами. Она устала быть просто степью. Она хотела быть чем-то большим. Она хотела, чтобы её увидели, услышали, почувствовали. Она хотела, чтобы на ней что-то построили, что-то великое, что-то, что будет стоять века. И она ждала. Терпеливо. Бесконечно. Как ждёт только земля.

4

В сухой траве, которая шелестела на ветру, жили тысячи маленьких жизней. Ящерицы, которые грелись на камнях и замирали при малейшем звуке, превращаясь в серые тени, почти невидимые для глаз. Жуки-скарабей, которые катили свои шарики навоза, не зная усталости, не сомневаясь в смысле своей работы. Песчаные мыши, которые рыли норы под такыром, уходя глубоко, туда, где было прохладно даже в полдень. И змеи — серые, почти незаметные, которые лежали в тени сухих кустов и ждали добычу. Всё это было жизнью. Пустой, сухой, почти бессмысленной для постороннего глаза, но полной для тех, кто жил внутри неё. И эта жизнь тоже ждала. Она ждала дождя, который придёт раз в год и превратит пустыню в цветущий луг.

Она ждала весны, когда из земли проклюнутся зелёные ростки, ещё хрупкие, ещё нежные, но такие же стойкие, как и любая трава в степи. Она ждала перемен, которые обязательно придут, даже если ничего не обещает их.

А степь ждала людей. Не кочевников, которые проходят и исчезают, как ветер. А тех, кто останется. Тех, кто построит дома, улицы, колодцы, школы, больницы и вокзал. Тех, кто задержит реки в плотинах и заставит их течь туда, куда надо. Тех, кто посадит деревья там, где их никогда не было, и заставит их расти, вопреки жаре, вопреки сухости, вопреки безнадежности. Она ждала строителей. Она знала, что они придут. Она чувствовала это каждой трещиной, каждым камнем, каждым зёрнышком песка. Они уже шли — по дорогам, которых ещё не было, по картам, которых ещё не нарисовали. Они шли из России, из Европы, из городов, которых она никогда не видела. И степь ощущала их приближение как лёгкую вибрацию, которая началась далеко-далеко, у самого горизонта, и постепенно приближалась, нарастала, становилась всё ощутимее.

5

Особенное место среди всей этой сухой, бесконечной пустоты занимала река Арысь. Она была небольшой — можно было перейти её вброд в нескольких местах, — но она была живой. Вода в ней была холодной даже в самые жаркие дни, потому что она текла с гор, где снег таял и спускался вниз по каменистым руслам. По берегам Арыси росли карагачи и ивы, которые казались чудом среди голой степи. Здесь, у воды, жизнь была ключом: птицы, звери, насекомые — все собирались у этого источника, как паломники у священного места. И люди тоже. Они останавливались здесь на ночлег, разбивали юрты, варили чай, кормили лошадей. Они знали, что Арысь никогда не пересыхает, что она всегда даст воды, что она всегда примет уставшего путника. И они благодарили её тихими молитвами, которые шептали на закате.

Но и Арысь ждала. Она ждала, когда на её берегах появится что-то большее, чем временное стойбище. Она ждала моста — не бревна, переброшенного через реку, а настоящего, железного, по которому будут ходить поезда. Она ждала города, который будет стоять на её берегу, и люди будут смотреть на неё из окон своих домов. Она ждала, когда её имя станут произносить на всех вокзалах, во всех расписаниях, во всех поездах. Она ждала истории, которая начиналась здесь, на её берегах. И она была готова. Она всегда была готова.

6

Иногда, в особо тихие дни, когда солнце стояло в зените и даже ветер замирал, на горизонте появлялись миражи. Казахи знали эти миражи — они видели их каждый год. Но иногда миражи были другими. Не просто озёра или города, которых нет, а что-то более странное, более нереальное. Иногда казахи видели, как над степью появляется что-то большое, чёрное, металлическое — поезд, хотя поездов ещё не было. Они видели дым, который поднимался над горизонтом, и слышали гудок, которого не могло быть в пустой степи. Они переглядывались, протирали глаза — и миражи исчезали. Но они знали: степь видит будущее. Степь показывает то, что скоро придёт. И они боялись этого будущего, потому что не знали, что оно принесёт. Но они знали, что оно будет. Неизбежно. Как закат, как рассвет, как смена времён года.

И однажды, в такой тихий день, когда воздух дрожал над такыром и земля казалась раскалённой сковородой, на горизонте появился первый человек, который пришёл не как кочевник. Он был в форменном сюртуке, с теодолитом в руках и с блокнотом в кожаном переплёте. Он остановился на холме, посмотрел вокруг — и степь увидела его глазами. И она узнала его. Она узнала человека, который пришёл строить. Она узнала Громова, хотя тогда он ещё не носил этого имени. Она узнала того, кто будет говорить с ней на её языке, кто будет слушать её дыхание, кто будет вписывать свои чертежи в её линии, в её изгибы, в её молчание. И степь вздохнула — глубоко, протяжно, как вздыхают после долгого ожидания. И в этом вздохе было всё: боль тысячелетий, надежда тысяч поколений, вера в то, что кто-то наконец пришёл. И Громов услышал этот вздох. Он поднял голову, прислушался, хотя вокруг была только тишина.

И он улыбнулся. Он не знал, что это было, но он чувствовал: земля рада ему. Земля ждала его. И он построит на этой земле то, что будет стоять века.

7

Но до строительства было ещё далеко. Пока что была только степь. Бескрайняя, сухая, древняя, как само время. И она дышала. Она дышала тем дыханием, которое слышали только те, кто умел слушать. Она дышала голосами курганов, шумом сухой травы, шелестом листьев карагача у реки, журчанием воды в подземных руслах, треском раскалённого такыра. Она дышала тысячами лет, которые прошли сквозь неё, и тысячами лет, которые ещё должны были прийти. Она дышала всеми, кто был до, и всеми, кто будет после. И это дыхание было музыкой. Музыкой, которая никогда не прекращается. Музыкой, которая будет звучать даже тогда, когда последний человек уйдёт со степи, когда последний вокзал рухнет, когда последний поезд остановится и никогда не тронется с места. Эта музыка будет жить всегда. Потому что земля помнит всё. И она всегда будет ждать. Ждать следующего строителя, следующего слушателя, следующего человека, который придёт и скажет: «Я здесь. Я слышу тебя. Я построю на тебе что-то великое».

И вот тогда степь ответит. Она запоёт свою песню — песню о том, как она ждала, как она верила, как она знала, что кто-то придёт. И этот кто-то услышит. И построит. И начнёт новую главу в истории земли, которая дышала, ждала и никогда не сдавалась.

А пока — пока было только молчание. Только такыр, только курганы, только сухая трава, только ветер, который гулял по степи, никого не встречая. Пока была только тишина. Тишина, которая готовилась стать песней.

Глава первая. О железной дороге, которая пришла в степь, и о человеке, который её встретил

1

Царский указ пришёл в Туркестанский край глубокой осенью тысяча девятьсот первого года. Говорят, сам государь император Николай Александрович, разглядывая карту Российской империи в своём кабинете в Александровском дворце, провёл пальцем от Оренбурга до Ташкента и сказал: «Здесь пройдёт дорога. Здесь будут стоять поезда». Не знаю, правда ли это. Может, и не было никакого пальца, императорского или чьего ещё. Может, был просто доклад министра путей сообщения князя Хилкова, исписанный канцелярскими завитушками, который полежал в чьём-то портфеле, потом перекочевал в другой, потом третий, пока наконец не добрался до стола туркестанского генерал-губернатора. Но так или иначе, в безводной степи, где веками лишь ветер пересчитывал сухие стебли саксаула и редкие путники молились о глотке воды, вдруг забили колышки. Царские землемеры, люди в форменных сюртуках и с теодолитами, появились на горизонте, как миражи — сначала дрожащие в знойном мареве, потом — твёрдые, настоящие, неумолимые. Они ставили свои инструменты на песок, смотрели в окуляры, что-то записывали в толстые, кожаные блокноты, и степь, которая не знала других измерений, кроме расстояния между колодцами и силы ветра, вдруг обрела версты, градусы и отметки.

По слухам, на место будущей станции приезжал сам начальник Оренбургско-Ташкентской железной дороги. Говорили, он три дня ездил верхом, нюхал песок, щупал глину, прикладывал ладонь к земле. Местные казахи, сидевшие в отдалении на корточках, шептались: «Он слушает, как дышит степь». Я не знаю, что там слушал этот господин в форменном сюртуке с золотыми пуговицами, но место выбрал именно здесь, у реки Арысь, там, где древние караванные пути сходились в один узел, будто жили на запястье великана. Это была не случайность, хотя тогда никто этого не понимал. Веками купцы, следовавшие из Бухары в Россию, из России в Индию, из Персии в Китай, останавливались здесь, у этого брода через Арысь, потому что вода здесь была чище, чем в других местах, и потому что старые люди говорили: «Здесь земля

тоныше. Здесь слышно, что под ней». Может быть, императорский инженер тоже услышал что-то. Может, не верил в духов, но знал своё дело. Или просто устал искать.

Городок, если его можно было так назвать, состоял тогда из полусотни глинобитных мазанок, двух колодцев, одной чайханы, где подавали зелёный чай с верблюжьим молоком, и одного почтового тракта, который летом исчезал под слоем пыли, а зимой его заносило снегом так, что путник мог пройти мимо собственного дома и не заметить. Здесь жили казахи, которые пасли скот, и несколько русских ссыльных, бежавших когда-то от каторги — теперь уже стариков, поседевших в этой степи, как сухая трава. Всё население Арыси едва достигало трёх сотен душ, если не считать собак и верблюдов, которых здесь было больше, чем людей. Отсюда до Чимкента — восемьдесят вёрст, восемьдесят вёрст до первого человека, который не пахнет овчиной и кизяком, до первого деревянного тротуара, до первой лавки, где торгуют сахаром и свечами. Восемьдесят вёрст — расстояние в один день ходьбы или полдня на лошади, если лошадь хорошая. Но именно здесь, в этой пустоте, предстояло родиться «Воротам в Среднюю Азию». Именно здесь, где даже птицы не задерживались, где орлы пролетали на огромной высоте и никогда не снижались, потому что нечего было есть, — здесь предстояло встать зданию, которое назовут символом целого края.

2

Первым на станцию прибыл Андрей Иванович Громов, инженер-путеец сорока двух лет от роду, человек с лицом, изъеденным степными ветрами до такой степени, что казахские дети принимали его за пересохшее дерево и боялись подходить. Громов был из обрусевших немцев, из тех, чьи деды ещё при Екатерине пошли на службу императорской короне и получили земли в Саратовской губернии. Его отец, тоже инженер, строил мосты в Сибири и умер от тифа, когда Андрею было всего двенадцать. Мать, оставшаяся с тремя детьми в маленьком уральском городке, выучила сына латыни и немецкому, но не выучила любви к домашнему уюту. Громов, как только ему исполнилось двадцать, уехал в Петербург, поступил в Институт инженеров путей сообщения — тот самый, где учился сам Александр II, — и с тех пор не задерживался на одном месте дольше трёх лет. Он носил с собой теодолит, походную чернильницу, тетрадь в кожаной обложке и странную привычку разговаривать с инструментами. Вечерами, когда батраки засыпали в землянках, Громов сидел у костра, смотрел на огонь, слушал, как гудят ветки в пламени, и шептал: «Ну что, железка, пойдёшь по степи? Не боишься?» Железка молчала. Но Громову казалось, что она отвечает, что металл дышит, тянется, ищет свою колею, что у каждой рельсы есть душа, и что если положить её неправильно — она будет страдать, вибрировать, скрипеть, а то и вовсе лопнет, отомстив за неуважение. Это, конечно, была глупость. В Петербурге в такое не верили. Но в степи, когда вокруг тебя тысячи вёрст пустоты и только звёзды над головой, в глупости начинаешь верить, потому что умное не держится в такой пустоте.

Громов проектировал вокзал не по шаблону. Губернское начальство прислало ему чертежи — стандартные, серые, скучные — такие же, как на сотне других станций от Самары до Омска, от Уфы до Актюбинска. Это была типовая серия, разработанная для всех станций третьего и второго класса: прямоугольное здание с высокими окнами, треугольный фронтон, небольшие колонны, никаких излишеств. Громов посмотрел на эти чертежи, помолчал, потом долго сидел, глядя на них пустым взглядом, и наконец убрал их в дальний ящик своего дорожного сундука. Потом достал свой блокнот — тот самый, в кожаной обложке, исписанный его мелким, убогим почерком, — и начал рисовать заново. Он хотел, чтобы «Ворота» были не просто залом ожидания и кассой. Не просто местом, где уставшие путешественники дожидаются поезда, пьют чай и пересчитывают деньги в кошельках. Он хотел, чтобы каждый, кто сойдёт с поезда, сразу понял: здесь начинается Азия. Здесь ветер пахнет по-другому — не сосной и берёзой, а полынью, верблюжьей шерстью и сухим саксаулом. Здесь солнце садится медленнее, как будто оно не хочет уходить с этой земли. Здесь даже песок — жёлтый, как жир-

ное масло, — имеет свой, особенный вкус, солёный и горьковатый, как слёзы старой матери, которая провожает сына в солдаты.

Но главное, что прорастало в чертежах Громова, — это было что-то неуловимое, почти безумное. Он вписал в фасад вокзала контуры старого казахского шатра. Не прямо, конечно, не так, чтобы это бросалось в глаза, — нет, это было на уровне пропорций: чуть расширенный низ, чуть суженный верх, арки окон, похожие на согнутые рёбра юрты, линии карниза, напоминающие деревянные дуги, которые держат кошму. Когда ему указывали на это, Громов отмахивался: «Ерунда. Просто линии. Мне кажется, так красивее». Но местные казахи, проходящие посмотреть на строительство, переглядывались и шептались. Они узнавали в этих стенах силуэты предков. Один старик, седой, как лунь, с глазами, которые видели и Бухару, и Самарканд, и даже, говорят, Мекку, подошёл к Громову и сказал на ломаном русском: «Ты, инженер, знаешь, что ты делаешь? Ты делаешь каменный аул. Степь будет тебе благодарна». Громов улыбнулся и ничего не ответил. Но в ту ночь он долго сидел у костра, смотрел на свою тетрадь и чувствовал, что он на верном пути.

3

Вторым человеком, сыгравшим в этой истории роковую роль, был Владимир Сергеевич Яблонский. Молодой, тридцати двух лет от роду, выпускник Петербургского института инженеров путей сообщения — того же, что и Громов, но на два курса младше, — с белыми руками, не знавшими мозолей, с острым носом, которым он, казалось, вынюхивал в каждом проекте несовершенства, и с глазами такого серого, невыразительного цвета, что смотреть в них было всё равно что смотреть на затянутое тучами небо, где не видно ни конца, ни края. Яблонский прибыл в Арысь через год после Громова, в начале лета тысяча девятьсот второго, в чине надворного советника, с толстой папкой приказов и личной рекомендацией от самого начальника управления путей сообщения. Его папку сопровождал не просто почтовый конверт, а целый портфель, в котором лежали чертежи, акты, ревизские заключения и, главное, — список подрядчиков, с которыми он должен был работать. Все эти подрядчики были его знакомыми, друзьями или, как минимум, людьми, которые платили ему проценты за рекомендации. Яблонский приехал не строить. Он приехал управлять. И управлять — значит контролировать всех, включая самого Громова.

Яблонский не любил Громова с первого взгляда. Вернее, он не любил всё, что Громов строил. «Этот вокзал, Андрей Иванович, — сказал он при первой встрече, тыкая пальцем в чертёж, который лежал на столе в палатке Громова, — не соответствует строительным нормам. Здесь ширина коридора на три вершка меньше стандарта. Здесь арка — слишком крутая, она не выдержит нагрузки снега зимой, если, конечно, здесь вообще бывает снег, а не просто песок с солнцем. Здесь, здесь и здесь — всё не так. Посмотрите на типовой проект: там углы прямые, там окна квадратные, там нет этих... этих...» — он крутил пальцем в воздухе, пытаясь подобрать слово, — «...этих ваших юртовых выкрутасов».

Громов молчал. Он знал, что спорить с Яблонским бесполезно: у того за спиной стояли министерские канцелярии, бумажные папки с красными лентами, многолетний опыт бюрократической борьбы и, самое главное, — проект нового подряда на поставку железобетонных конструкций, который Яблонский продвигал через своих знакомых в Ташкенте. Яблонский был не просто инженером, он был человеком системы. Каждый камень, каждая балка, каждый мешок цемента, заказанные по его проекту, приносили ему процент — небольшой, скромный, но верный. Чем больше стройматериалов, чем дороже — тем лучше для него. Громов же, наоборот, старался экономить, использовать местный камень — тот, который можно было взять из карьера в тридцати верстах от Арыси, — местную глину, местные руки. Он считал, что здание должно вырасти из земли, а не быть привезённым в ящиках из Самары или Москвы, где каждый гвоздь накручен с процентом.

— Ваш «народный» подход, Андрей Иванович, — кривился Яблонский, перебирая бумаги на столе Громова, — приведёт к тому, что вокзал рухнет при первом же землетрясении. А здесь, — он театрально оглядывал степь, — здесь, знаете ли, земля дышит. Ходит. Трясётся. Вы в Петербурге, может, не знаете, как здесь бывает, но я был в Ташкенте при землетрясении восемьдесят шестого года. Там стены складывались как карточные домики.

— Земля дышит, Владимир Сергеевич, — спокойно отвечал Громов, не поднимая глаз от чертежа, — но только тогда, когда ей не мешают. Я закладываю фундамент так, чтобы он стал частью этой земли. Не сопротивлялся ей, а жил с ней. Как корни саксаула. Знаете, как саксаул держится в песке? Он не вгрызается, не ломает, он просто идёт туда, куда ведёт вода. И пускает корни в ту сторону, куда дует ветер. Так я строю фундамент — иду за землёй, а не против неё.

Яблонский фыркал и уходил в свой деревянный вагончик, который специально привезли для него из Чимкента, — чистенький, с занавесочками на окнах, с печкой-буржуйкой и даже с ковром на полу, — где пил чай из серебряного подстаканника и строчил жалобы в Петербург. Он писал, что Громов растрчивает казённые деньги, что подрядчики у него — «туземцы» без образования, что местный камень — непрочный, что проект вокзала — «это какой-то азиатский балаган, а не станция первого класса», и что он, Яблонский, будучи надворным советником и старшим инженером по техническому надзору, просит вмешаться и прислать комиссию. И бумаги летели на столы высоких начальников, и начальники писали резолюции, и резолюции ехали обратно в Арысь, и Яблонский с каждым днём чувствовал себя всё увереннее. Он знал: бумажная война — это его стихия. Громов воевал лопатой и камнем, Яблонский — пером и чернилами. И в этой войне было неясно, кто в конце концов окажется сильнее.

4

Между тем строительство шло. Весной тысяча девятьсот второго года — первого года стройки, если считать от закладки фундамента, — начали рыть котлован. Работали в две смены: утром, когда солнце ещё не взошло, и вечером, когда оно уже садилось. Днём работать было невозможно — жара достигала сорока градусов, кирпичи накалялись так, что к ним нельзя было притронуться голой рукой. Рабочие, которых нанял Громов, были из разных мест: русские мужики из Саратовской губернии, которые приехали на заработки, татары из Казани, узбеки из Ферганы, казахи из соседних аулов, даже несколько персов — беглых, говорят, от шахского произвола. Все они жили в землянках, которые выкопали прямо в склоне оврага, там, где река Арысь делала поворот. Землянки были низкими, тёмными, пахли сыростью и кизяком, но в них было прохладно в жару и тепло зимой. Громов сам ночевал в такой землянке — он не разрешал себе отдельной палатки, как Яблонский, и это вызывало уважение рабочих. «Наш инженер не гнушается, — говорили они друг другу. — Он с нами. Он — наш человек».

Но работа была не просто тяжёлой — она была опасной. В июне, когда копали самый глубокий участок фундамента, под стеной котлована обвалился пласт глины. На дне остались трое рабочих — двое узбеков и один русский, молодой парень из Самары. Их завалило почти по пояс, и, пока откапывали, один из узбеков умер — он получил удар по голове камнем и захлебнулся глиной, потому что не мог дышать. Громов сам спустился в котлован, сам разгребал землю руками, пока другие таскали носилки. Он вытащил оставшихся двоих и уложил их на траву. Потом сел рядом и долго сидел, не говоря ни слова. Он не плакал — он вообще никогда не плакал, — но лицо его было белым, как бумага, и руки дрожали, даже когда он держал их на коленях. Когда вечером к нему подошёл Яблонский и сказал: «Вот видите, Андрей Иванович, ваши методы... если бы мы заливали бетон, как положено, а не копали вручную...», Громов поднял на него глаза и сказал тихо, почти шёпотом: «Замолчите, Владимир Сергеевич. Замолчите, или я вас убью. Я сейчас могу убить. И мне ничего не будет, потому что я уже ничего не чувствую». Яблонский отступил на шаг, потом на два и ушёл в свою палатку. Он не говорил с Громовым три дня после этого.

Рабочие похоронили умершего узбека по местному обычаю — хотя он был не казах, а узбек, все они читали одни и те же законы степи. Пришёл старый аксакал из ближайшего аула, прочитал молитву, потом тело завернули в белую кошму и опустили в могилу, вырытую на холме, откуда видна была и река, и стройка. Говорят, что старик плакал, когда клал на грудь умершего горсть сухой земли, и что он сказал: «Он пойдёт в другую степь. Лучшую. Там не будет работы, только трава и вода». Громов стоял в отдалении, не снимая шляпы — он не был православным в том смысле, в каком это понимали другие, он вообще никуда не ходил, но в этот день он не работал. Он стоял на холме и смотрел на похороны, и кто-то из рабочих потом рассказывал, что он что-то шептал, но что — никто не расслышал. Может, молитву. Может, просто прощался.

5

Климат в Арыси — это отдельный персонаж романа, не менее важный, чем люди. Он не просто фон, не просто обстоятельство. Он — третий герой, который вмешивается в судьбы людей, ломает их тела, меняет их мысли, убивает и воскрешает, дарит надежду и отнимает её с такой же лёгкостью, с какой степной ветер сдувает пыль с сухой корки. Если бы можно было нарисовать портрет этого климата, он был бы лицом старика с красными, обветренными щеками, с глазами, которые никогда не закрываются, и с дыханием, которое то обжигает, то леденит.

Летом температура поднимается до сорока пяти, а то и пятидесяти градусов. Земля трескается на такие куски, что кажется, кто-то гигантским ножом разрезал степь на порции, как пирог. Воздух становится плотным, как кисель, его надо глотать с усилием, и каждый вдох обжигает горло, как глоток водки, разлитой по раскалённому железу. В июле, когда солнце стоит в зените, тени почти нет — даже под деревьями, которых здесь почти нет, воздух остаётся горячим. Рабочие, копавшие фундамент для вокзала, нанимали местных мальчишек, чтобы те стояли над ними с мокрыми тряпками и время от времени брызгали водой им на головы. Но вода эта была солёной — все колодцы здесь были горько-солёными, потому что подземные воды проходили через солевые пласты, — и когда она стекала по лицам, оставляла белые разводы, так что люди казались призраками, вышедшими из солончака. Некоторые из рабочих, особенно те, кто приехал с севера, не выдерживали такой жары. Они падали в обморок, у них начинались судороги, они бредили, говорили о снеге, о реках, о берёзовых рощах, которых никогда не видели в этой степи. Их уносили в тень, поили водой с уксусом, которую Громов заготовил специально для таких случаев, и через день-два они возвращались к работе, ещё более худые и обожжённые, чем раньше.

Громов сам работал в этих условиях без каких-либо поблажек. Он отказывался от отдельной палатки, спал под открытым небом, накрываясь старым брезентом, который пах керосином и потом, и говорил: «Если я не чувствую этого солнца, как я построю здание, которое его выдержит? Если я сам не выдержу этой земли, как я могу заставить камень её выдержать?» Его помощники качали головами: «Инженер с ума сошёл. Он хочет сгореть заживо». Но никто не смел ему перечить. Он был жёсткий, сухой, как таранная кость, которую можно найти в степи где угодно, если знать, где искать. Он мог три дня не пить воды и только облизывать губы языком, похожим на наждак, и всё равно продолжать работать — чертить, мерить, проверять, командовать. Он говорил, что в молодости воевал на Маньчжурской войне, что там было ещё хуже, что привык к жаре. Но кто знал, правда ли это. Громов не любил рассказывать о себе, и все его истории были короткими и неоконченными, как оборванные телеграммы.

Но настоящий климат открывался зимой. В январе степь превращалась в белое безмолвие. Мороз под сорок — обычное дело. Ветры с Устюрта налетали такие, что сдували с крыш шифер, если тот был, а в те времена — сдували камышовые циновки и уносили их в километрах от дома. Они были такими сильными, что верблюды ложились на землю, закрывали глаза и ждали, пока ветер стихнет, потому что идти против него было невозможно. Рабочие, наня-

тые для зимней кладки, замерзали заживо. Трупы находили только весной, когда снег таял, и они лежали, будто спящие, с открытыми глазами, полными удивления: как так — вчера было тепло, а сегодня уже ничего. Один из таких случаев произошёл в декабре тысяча девятьсот второго года: ночью налетел буран, двое сторожей, которые должны были охранять стройматериалы, не добрались до землянки, их занесло снегом, и нашли их только через три дня — они так и стояли, привалившись друг к другу, с замёрзшими лицами, на которых застыл крик, не успевший вырваться наружу. Громов сам отогревал их тела в своей палатке, растирал снегом, пытался вернуть к жизни, хотя знал, что это бессмысленно. Он не спал двое суток после этого и всё чертил свои проекты, не поднимая глаз.

6

Именно в такую зиму, в январе тысяча девятьсот третьего года, Громов решил класть фундамент — тот самый, глубокий, который должен был держать вес стен, крыши, вензеля и всех будущих пассажиров. Яблонский был в ярости. Он прибежал на стройку, когда температура была минус тридцать пять, ветер дул такой, что сносило лёгкие предметы, а руки прилипали к металлу, и закричал так, что его голос разносился по всей степи, заглушая даже вой бурана:

— Вы что, сумасшедший?! — кричал он, топая ногами в своих тёплых, оббитых мехом сапогах, которые он выписал из Москвы специально для этой командировки. — Какая кладка в такой мороз?! Цемент не схватится! Всё рассыплется весной! Вы погубите стройку! Вы погубите казённые деньги! Вы погубите мою репутацию!

— Схватится, — спокойно отвечал Громов, стоя в своём старом тулупе, который уже почти развалился от времени, — Я добавил в раствор яичный белок. Местные куры дают белок с особыми свойствами, я заметил это ещё в прошлом году. И соль. Много соли — она не даёт воде замерзнуть до определённой температуры. И саксауловую золу — в ней есть что-то, что связывает глину даже на морозе. Этот раствор держит даже при таких температурах. Я проверил. В ноябре я залил пробный куб, он простоял две недели, и когда я его разбил — он был крепче, чем летний. Я знаю, что делаю.

Яблонский закатил глаза так сильно, что казалось, они сейчас выпадут из орбит. Он считал Громова не просто безумцем, а опасным безумцем, человеком, который своими экспериментами подрывает основы инженерной науки. Он уже отправил три донесения в столицу с просьбой отстранить Громова от руководства строительством. Но ответы почему-то задерживались. То ли бумаги терялись в бесконечной пересылке через Ташкент, Оренбург, Самару и Москву, то ли в Петербурге были свои дела поважнее, чем какой-то там вокзал в туркестанской степи, — там решали судьбы империй, подписывали контракты с японцами и французами, строили планы на всю Азию. Может быть, Громов был просто слишком маленькой фигурой, чтобы о нём волноваться. А может, кто-то наверху, кто-то, кто сам когда-то строил и знал, что такое мороз и степь, — тот кто-то просто задерживал резолюции, давая Громову время. Мы не знаем. Бумаги, если они вообще существовали, давно сгнили в архивах.

И вот, в январе, в лютый мороз, бригада Громова — двадцать человек, самых выносливых, самых преданных, которых он набрал из бывших солдат и ссыльных, — начала класть фундамент. Они работали в рукавицах, набитых войлоком, с перерывами каждые двадцать минут, чтобы не замерзали пальцы. Они пили горячий чай с салом — казахский рецепт, который Громов выучил у местных, — и этот чай согревал их изнутри. Камни, которые привозили на санях, сначала нагревали у костров, чтобы они не трескались от холода, а потом опускали в раствор. Это было медленно, мучительно, почти бессмысленно для постороннего глаза. Но Громов знал: фундамент, заложенный зимой, будет держаться лучше летнего. Потому что земля зимой плотнее, потому что мороз выдавливает лишнюю влагу, потому что раствор, схватываясь на морозе, становится монолитом, как ледник. Это была не наука. Это было знание, которое приходило от земли, а не из учебников.

7

Вокруг строительства возникло целое общество — маленькое, странное, пёстрое, как лоскутное одеяло. Сотни людей — русские землемеры в форменных фуражках, татары-подрядчики в тюбетейках и халатах, узбеки-каменщики с мозолистыми руками, казахи-носильщики в затасканных бешметах, даже один афганец, бежавший от эмира, — высокий, молчаливый человек с обожжённым солнцем лицом, который знал секреты обжига кирпича и никому их не раскрывал. Все они жили в бараках, в землянках, в палатках, в вырытых в склонах оврагов земляных норах, которые назывались здесь «землянки с дымоходом», потому что каждая из них имела глиняную трубу, выходящую наружу, и очаг, который топили кизяком. Городок, который потом назовут Арысь, рос прямо на глазах, как грибок после дождя. Сначала одна лавка с саманом и керосином — её держал татарин по имени Карим, человек с густыми усами и хитрыми глазами, который торговал всем, что можно было продать: от иголок до сушёной рыбы, которую он привозил с Аральского моря. Потом — чайхана, где подавали зелёный чай с верблюжьим молоком и лепёшки, испечённые в тандыре, и где по вечерам собирались все, кто не спал, чтобы послушать новости, сплетни и песни. Потом — дом начальника станции, деревянный, с резными наличниками, привезённый в разобранном виде аж из Самары, который стоял отдельно, на небольшом холме, как память о России. Потом — маленькая православная часовенка в честь Николая Чудотворца, которую поставили на деньги рабочих, собиравших по копейке, потому что многие из них верили, что без Бога здесь нельзя, и потому что казахи говорили: «Здесь очень много чудес. Станных. Иногда страшных. Нужен кто-то, кто их успокоит».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.